

**Отрывки из «Воспоминания» А.Д. Сахаров.**

Моя мама Екатерина Алексеевна (до замужества Софиано) родилась в декабре 1893 года в Белгороде. Мой дедушка Алексей Семенович Софиано был профессиональным военным, артиллеристом.

Дворянское звание и первый офицерский чин он заслужил, оказав какую-то важную услугу Скобелеву в русско-турецкую войну.. Среди его предков были обрусевшие греки – отсюда греческая фамилия Софиано.

Дедушка командовал какой-то артиллерийской (или общевойсковой) частью. Летом он вместе с семьей жил в лагере под Белгородом. С детских лет моя мама помнила солдатские и украинские песни, хорошо ездила верхом (сохранилась фотография). Она получила образование в Дворянском институте в Москве. Это было привилегированное, но не очень по тому времени современное и практичное учебное заведение – оно давало больше воспитания, чем образования или, тем более, специальность. Окончив его, мама несколько лет преподавала гимнастику в каком-то учебном заведении в Москве. Внешне, а также по характеру – настойчивому, самоотверженному, преданному семье и готовому на помощь близким, в то же время замкнутому, быть может даже в какой-то мере догматичному и нетерпимому – она была похожа на мать – мою бабушку Зинаиду Евграфовну. От мамы и бабушки я унаследовал свой внешний облик, что-то монгольское в разрезе глаз (вероятно, не случайно у моей бабушки была "восточная" девичья фамилия – Муханова) и, конечно, что-то в характере: я думаю, с одной стороны – определенную упорность, с другой – неумение общаться с людьми, неконтактность, что было моей бедой большую часть жизни.

Семья отца во многом отличалась от маминой. Дед отца Николай Сахаров был священником в пригороде Арзамаса (село Выездное), и священниками же были его предки на протяжении нескольких поколений. Один из предков – арзамасский протоиерей. Мой дед Иван Николаевич Сахаров был десятым ребенком в семье и единственным, получившим высшее (юридическое) образование. Дед уехал из Арзамаса учиться в Нижний (Нижний Новгород), в ста километрах от Арзамаса. (Моя высылка в Горький как бы замыкает семейный круг.) Иван Николаевич стал популярным адвокатом, присяжным поверенным, переехал в Москву и в начале века снял ту квартиру, где позже прошло мое детство.

Мой дед И. Н. Сахаров был человеком либеральных (по тем временам и меркам) взглядов. Среди знакомых семьи были такие люди, как Владимир Галактионович Короленко, к которому все мои родные питали глубочайшее уважение (и сейчас, с дистанции многих десятилетий, я чувствую то же самое), популярный тогда адвокат Федор Никифорович Плевако, писатель Петр Дмитриевич Боборыкин. Сохранилось личное письмо Короленко моему деду.. В конце девяностых годов или в начале века дед вел нашумевшее дело о парходной

аварии на Волге, которое имело тогда определенное общественное значение. Речь моего деда на суде вошла в изданный уже при советской власти сборник "Избранные речи известных русских адвокатов". После революции 1905 года он был редактором большого коллективного издания, посвященного ставшей актуальной тогда в России проблеме отмены смертной казни. Тогда же Л. Н. Толстой опубликовал свою знаменитую статью "Не могу молчать" – она тоже включена в сборник и занимает в нем одно из центральных мест по силе мысли и чувства2).

Эта книга, которую я читал еще в детстве, произвела на меня глубокое впечатление. По существу, все аргументы против института смертной казни, которые я нашел в этой книге (восходящие к Беккариа, Гюго, Толстому, Короленко и другим выдающимся людям прошлого), кажутся мне не только убедительными, но и исчерпывающими и сейчас. Я думаю, что для моего деда участие в работе над этой книгой явилось исполнением внутреннего долга и в какой-то мере актом гражданской смелости.

Эпоха, на которую пришлось мое детство и юность, была трагической, жестокой, страшной. Но было бы неправильно ограничиться только этим. Это было время также особого массового умонастроения, возникшего из взаимодействия еще не остывших революционного энтузиазма и надежд, фанатизма, тотальной пропаганды, реальных огромных социальных и психологических изменений в обществе, массового исхода людей из деревни – и, конечно, – голода, злобы, зависти, страха, невежества, эрозии нравственных критериев после многих дней войны, зверств, убийств, насилия. Именно в этих условиях сложилось то явление, которое в СССР официально деликатно называют "культ личности".

Из обрывков разговоров взрослых (которые не всегда замечают, как внимательно слушают их дети) я уже в 30–34-м гг. что-то знал о происходивших тогда событиях. Я помню рассказы о подростках, которые бежали из охваченных голодом Украины, Центрально-Черноземной области и Белоруссии, забившись под вагоны в ящики для инструментов. Как рассказывали, их часто вытаскивали оттуда уже мертвыми. Голодающие умирали прямо на вокзалах, беспризорные дети ютились в асфальтовых котлах и подворотнях. Одно такого подростка подобрала моя тетя Таня на вокзальной площади, и он стал ее приемным сыном, хотя у него потом и нашлись родители. Этот мальчик Егорушка стал высококвалифицированным мастером-электриком. В последние годы он работал на монтаже всех больших ускорителей в СССР. Сейчас он уже дедушка, Егор Васильевич.

Тогда же все чаще я стал слышать слова "арест", "обыск". Эпоха несла трагедию в жизнь почти каждой семьи, судьба папы и мамы на этом фоне была благополучной, но уже в ближайшем к нам круге братьев и сестер все сложилось иначе.

Папу любили очень многие – и близкие, и "дальние". Он был добрым, мягким и принципиальным человеком, с твердой мудростью, с сочувствием к людям. Был ли папа удовлетворен своей судьбой? Это трудный вопрос. Я думаю, что он знал себе цену и понимал, что не полностью реализовал свои богатые возможности (и он любил поговорить об этом со мной). Но в то же время у него была житейская, человеческая мудрость, дававшая ему возможность извлекать истинную глубокую радость из того, что было в его жизни (редкое, счастливое умение!). Его любимой пословицей было "Жизнь прожить – не поле перейти". Он очень много вкладывал в эти слова – и понимание сложности и противоречивости жизни, и чувство ее трагичности и красоты, и извинение тем, кто оступился на жизненном пути. Еще у него была любимая пословица: "Чувство меры есть высший дар богов". Ее он применял к искусству (особо выделяя Бетховена за его простоту, обращенную к людям с благородной героической мыслью, в борьбе с судьбой), к преподаванию, к науке (последовательно, без перескакивания через ступеньку, без вундеркинства – это он очень недолюбливал – и без поверхностности вести к глубокому знанию), к политике (тут он говорил, что большевикам чувства меры не хватает больше всего, и это в его глазах было суровым приговором), к жизни вообще, к личным отношениям. Эта пословица выражала папино понимание гармонии и мудрости. На меня эта позиция производила сильное впечатление, но следовать ей полностью я не мог. Во мне бродила еще какая-то другая закваска, внутренняя противоречивость, и "уравновешивание" было для меня не даром, а трудно достижимой целью, вернее даже полностью не достижимой. Впрочем, я думаю, что это – общечеловеческое свойство... (Бетховена, упомянутого выше, не меньше, чем других.)

Мои интересы, увлечения опытами, математикой, задачами радовали папу по-настоящему, и стало как-то само собой разумеющимся, что после школы я пойду на физфак. Может, тут было отчасти желание, чтобы я как-то пошел дальше папы, осуществив то, что ему в силу жизненных обстоятельств не удалось. Но в гораздо большей степени – желание, чтобы я получал удовлетворение от работы. Но при этом папа постоянно предостерегал от всех форм снобизма. Он был глубоко убежден и внушал своим детям, что любая добросовестно, профессионально, с любовью выполняемая работа всегда ценна.

## **Глава 2.**

Как отличник я имел право поступить в вуз без экзаменов.

Осенью 1938 года я поступил на физический факультет МГУ, тогда, вероятно, лучший в стране. Уже потом от своих однокурсников я наслушался об ужасах приемных экзаменов, об огромном конкурсе; я думаю, что, верней всего, я бы не прошел этого жестокого и часто несправедливого отбора, требовавшего к тому же таких психологических качеств, которыми я не обладал.

Университетские годы для меня резко разбиваются на два периода – три довоенных года и один военный, в эвакуации. На 1–3 курсах я жадно впитывал в себя физику и математику, много читал дополнительно к лекциям, практически больше ни на что времени у меня не оставалось, и даже художественную литературу я почти не читал. Я с большой благодарностью вспоминаю своих первых профессоров – Арнольда, Рабиновича, Нордена, Млодзеевского (младшего), Лаврентьева (старшего), Моисеева, Власова и других. Большой четкостью и ясностью отличались лекции Тихонова – пожалуй только, они были слишком элементарны для физиков. Очень много давали нам семинарские занятия Клетенника, Эльсгольца, Шаскольской и других. Особенно часто я вспоминаю доцента Бавли, пунктуального и слегка чудаковатого. На втором месяце войны Бавли вышел за продуктами из университета. Когда он стоял в очереди у киоска, неожиданно, без объявления воздушной тревоги, была сброшена немецкая бомба, разрушила дом, расположенный рядом, и убила многих находившихся в очереди. Погиб и Бавли.

Профессора давали нам очень много дополнительной литературы, и я каждый день по многу часов просиживал в читальном зале. Обычно после лекций я или забегал домой пообедать (жил рядом), или обедал в университетской столовой, а потом сидел в читальне до 8–10 часов. Вскоре я стал пропускать ради читалки более скучные лекции (тогда не было обязательного посещения лекций). Около читального зала возникал студенческий "клуб", одни выходили покурить, другие просто поразмяться, но я разговаривал, как я помню, исключительно о научных предметах.

На втором курсе я сделал попытку заняться самостоятельной научной работой, но она оказалась неудачной. Тема, полученная мною у профессора Михаила Александровича Леонтовича (папа был с ним связан совместной работой по составлению учебника под общей редакцией Ландсберга и направил меня к нему), оказалась трудной, слишком неопределенной для меня и не "пошла". Тема была – слабая нелинейность водяных волн. В общем, я еще не был готов для научной работы. И все же я должен сказать, что сидение в библиотеке над серьезной (не учебной) научной книгой, при этом с установкой на научную работу, было очень важным для меня. К счастью, я не получил при этом никаких комплексов, никакой разочарованности в своих силах.

Несколько штрихов для характеристики времени. У студентов была забава – подкрасться вдвоем сзади к зазевавшемуся и перевернуть его в воздухе. Я тоже иногда был жертвой шуток. Однажды вышла осечка – один из переворачиваемых студентов разбил ногой бюст Молотова, из этого возникло нечто вроде политического дела с перекрестными допросами. Только наличие у "виновника" каких-то влиятельных заступников спасло его от крупных неприятностей.

У преподавателя, ведшего семинар по марксизму-ленинизму, было несколько любимых вопросов. Один из них:

– Советско-германский договор, советско-германское сближение носят конъюнктурный или принципиальный характер?

Надо было отвечать:

– Принципиальный; отражают глубинную близость позиций.

Об этом же писали все газеты и журналы. Позднее мы узнали о тайных статьях советско-германского договора и об обмене узниками между гестапо и НКВД, но до сих пор, мне кажется, суть этих событий недостаточно понимается Западом.

Глава 4.

10 ноября 1942 года, в первый день своей работы в Центральной заводской лаборатории, я впервые увидел свою будущую жену Клавдию Алексеевну Вихиреву (1919–1969) – Клаву. Много лет спустя мы отмечали (без гостей; у нас, к сожалению, не было традиций праздников) нашу серебряную свадьбу именно в этот день (так хотела Клава, и это, конечно, было хорошо), а не в годовщину нашей официальной регистрации в ЗАГСе (Запись Актов Гражданского Состояния) Заволжского района 10 июля.

Я числился при металлургическом отделе лаборатории, в котором, кроме меня, работало несколько приезжих молодых специалистов (впрочем, все – кроме меня – со специальным "патронным" образованием). Клава работала лаборанткой химического отдела, там все были молодые женщины, в основном – местные, кроме одной женщины постарше – ее звали Дуся Зайцева, она была эвакуирована из Ленинграда. Клава и Дуся любили вспоминать Ленинград, свою жизнь там. (Клава училась в Ленинграде.) Помню их радость, когда была прорвана блокада.

Мы – мальчики – часто заходили в химическую лабораторию, девушки "опекали" нас всех подряд, угощали домашней картошкой, которую они тут же пекли. Быстро образовывались дружеские отношения. Помню, что Дуся часто ставила меня в пример, какой я якобы усидчивый и настойчивый (а я как раз в это время начал и бросил заниматься английским языком, возобновив эти занятия лишь в аспирантуре). Зимой мы с Клавой несколько раз ходили в театр (в том числе в Московскую оперетту, приехавшую в Ульяновск), в кино на памятные фильмы тех лет (в их числе военные фильмы, хороший английский фильм "Леди Гамильтон" и др.). Весной 1943 года наши отношения неожиданно перешли в другую стадию.

На майские дни я пришел к Клаве домой, предложил свою помощь в копке огорода под картошку. Одновременно я вскопал небольшой участок для себя (на целине за заводской стеной, купив семенную картошку на рынке). Убирали эту картошку (очень немного, два мешка) мы уже вместе с Клавой, будучи мужем и женой. Алексей Иванович Вихирев (1890–

1975), отец Клавы, однако, несколько раз вспоминал, много лет спустя, последний раз в 1971 году, "Андрюшину картошку". Я чувствовал, что ему это было приятно и почему-то важно. Он не каждый раз вспоминал при этом, что фактически в апреле–мае 1944 года семья осталась все же без картошки (мой лишний рот тут тоже играл роль) и пришлось выкапывать из земли перезимовавшие там неубранные клубни, полугнилые, и делать из них лепешки по довольно сложной технологии, издавна разработанной голодающими крестьянами.

В мае мы с Клавой два или три раза катались на лодке по Волге и по протокам; я был не очень ловок и уронил Клавину туфлю, но ее, кажется, удалось спасти. Клава нашла у своей родственницы (крестной) ботинки для меня (оставшиеся от покойного мужа), вместо тех, которые у меня украли в бане в октябре. Тогда мне пришлось по первому ледку возвращаться в общежитие в носочках, а потом ходить зимой в летних туфлях. Понемногу начиналась новая жизнь. 10-го июля мы расписались. Алексей Иванович благословил нас иконой, перекрестил, сказал какие-то напутственные слова. Потом мы, взявшись за руки, бежали через поле, на другой стороне которого были райсовет и ЗАГС. Мы прожили вместе 26 лет до смерти Клавы 8 марта 1969 года. У нас было трое детей – старшая дочь Таня (родилась 7 февраля 1945 года), дочь Люба (28 июля 1949 года), сын Дмитрий (14 августа 1957 года). Дети принесли нам много счастья (но, конечно, как все дети, и не только счастья). В нашей жизни были периоды счастья, иногда – целые годы, и я очень благодарен Клаве за них.